

ОЛЬГА ИСАЕВА

.....

Мой папа – Штирлиц

*Эту книгу
рекомендуют
вам 100
читателей*



На переменах
одноклассники осаждали:
– Ну Оль, в натуре, скажи,
кто тебе Штирлиц-то?
И в натуре я отвечала:
– Отец.

Ольга Исаева

Мой папа – Штирлиц (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6606964
Исаева О. Мой папа – Штирлиц: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-67406-0*

Аннотация

Что мы вспоминаем, будучи взрослыми, о своем детстве? Маленькая Оля выросла в «казармах», как называли огромные каменные общежития в подмосковном Орехове-Зуеве. Железная кровать с блестящими шишечками, которые так хотелось лизнуть, мягкие перины, укрытые ярким лоскутным одеялом, ковер с «лупоглазым оленем» на стене и застекленный комод с фаянсовыми фигурками, которые трогать было строго-настрого запрещено, – вот главные сокровища ее детства. Ольга Исаева обладает блестящим талантом выстраивать интересные сюжеты вокруг этих столь милых сердцу мелочей.

Содержание

Звуки и запахи	4
Бабушка	10
Разлука будет без печали	21
Мой папа – Штирлиц	37
Старухи	43
Максимовна	44
Фокевна	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Ольга Исаева

Мой папа – Штирлиц (сборник)

Валентине и Виталию

Звуки и запахи

Эхо гимна из всех ста комнат.
Близко, за занавеской мелодично поет пружинная сетка —
это бабушка заворочалась и проснулась.

Долгий-долгий зевок.
Шлепанье тапок.
Скрип половиц.
Звон струи о стенку ведра.
Скороговоркой «господи помилуй спаси сохрани».
Хруст суставов.
Бульканье воды,
наливаемой
в стакан из чайника.
Стук форточки.
Щелк настольной лампы.
Мерный ход часов.
Убаюкивающий шелест страниц.

Утро распускается звуками.
Содрогаясь от выстрелов дверей,

гудит дощатая труба коридора.
Топот, бег, шарканье.
Шаги: суетливые, осанистые,
дробные, перебивчатые,
каблукастые.

Я ныряю из дремы в сон,
из сна в дрему,
но город уже проснулся.
Во дворе гастронома
звенит и грохочет
царица задворков – стеклотара.
С деревообделочного прилетает
свист, визг и вой лесопилки.
По железной дороге частит чечетка колес.
Густую утреннюю мглу
пронзает внезапный мяв электрички.

Гулко лают сараи.
Ветер шурует в сухих листьях березы за окном.
Улица Ленина
рычит грузовиками,
сопит автобусами,
шуршит легковушками.

Вдруг ветер, как дворник,
сметает в совок все прочие звуки,
и с мгновенье слышен
только ропот, шопот и лепет
облетающих листьев.

Ватным одеялом город укутал шум ткацких станков.
Где-то далеко просипел фабричный гудок.
Под окнами процокали копыта
и прогремели бидоны совхозной лошади Марьи,
везущей молоко в мой детский сад.
Но мне еще можно поспать.
Я болею.
У меня гланды.

Звуки облипают,
но не мешают.
Я люблю их.

Стихла какофония дверей и шагов.
На смену им спешат:
настырный стук молотка,
звяк оброненной на блюдце
чайной ложечки,
утренний бубнеж за стенкой —
это, едва продрав глаза,
начинает тиранить свою «подселенку»,
бессловесную Машу,
басовитая, как шмель,
старуха Максимовна.

Острой иголкой дрему
пронзает вой реактивного самолета,
Я просыпаюсь от взрыва
преодоленного звукового барьера.

Первая мысль уместилась
в одно чудовищное слово —
ВОЙНА.

Звуки гаснут, как звезды.
Вместо них в мой утренний мир

вторгаются запахи.

Сонное логово спальни
тяжко дышит ватными одеялами,
слежавшимися перинами,
злыми, как голодные волки, клопами,
пыльными половиками,
старым, много раз штопанным тряпьем.

Коридор нагло смердит помойным ведром,
воняет заскорузлой тряпкой,
волглыми ботами.
В углу пьяным облачком
повис аромат
обувных щеток и гуталина.

Кухонный стол – мышинное царство.
Его растрескавшееся брюхо
набито крупами.
Меж прогрызенных пакетов,
в россыпях риса и пшенки,
загогулины мышинного помета.
Я «страшно боюсь» мышей.

Боюсь и керосинку.
Взгромоздилась
на клеенчатую спину стола

и сочит истошный,
приторный,
коварный смрад
до поры до времени
притаившегося пожара.

Старая клеенка
пахнет старой клеенкой.
Деревянная разделочная доска
с обугленным краем
слоится ароматами репчатого лука,
черного хлеба,
чеснока
и сырых котлет.

В поллитровой банке
ложки на длинных стеблях
деревянным букетом
благоухают щами,
подгоревшей кашей,
жареной картошкой,

квашеной капустой.

Бабушка любит повторять:
«Всего на свете не съешь,
Но стремиться к этому надо».
Пока, медленно, как пароход,
кряхтя и задыхаясь, она
отправляется в дальнее путешествие
сначала в уборную,
потом на кухню за кипятком,
я устремляюсь к полке, где

рядком, как на скамейке,
расселись чинные соседки —
пыльные, тусклые
и совершенно одинаковые на вид
стеклянные банки
под газетными чепчиками.

«Погодите, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток», —
бормочу я, волоча четвероногую
табуретку по кличке «тетя лошадь»,
чтобы с нее перелезть на стол
и дотянуться до заветной полки.

Если открывать все банки подряд,
то одна обдаст суховеем белых грибов,
другая пряно дохнет в лицо лавровым листом.
Есть здесь банки
и с горчичным порошком,
и со зверобоем,
и с сушеной петрушкой,
но мне сейчас не до них.

Все мое существо устремляется
к единственной,
той, что пронзает умопомрачительным,
сладким,
греховным,
непреодолимым желанием
сунуть палец в мягкую,
теплую,
липкую,

вязкую гущу
и, обмирая от наслаждения,
слизать с него
малиновое варенье.

А теперь надо как можно быстрее
нахлобучить чепчик,
и бегом вниз.

Зеркало шифоньера
на мгновение ухватит
бледную мордашку,
косички с выбившимися перьями,
худенькое байковое тельце,
ноги в «жидких» чулках на резинках,
рваные тапки.

Это я,
но разглядывать себя сейчас
мне недосуг.

Нужно, собравшись с духом,
нырнуть в нафталиновые джунгли,
где водится зубастая, хоть и слепая
бесстыдница-моль,
съевшая в прошлом году
бабушкину шубу,
и нащупать маслянистое,
скользкое, как змея,
тяжело плюхающееся
мне на голову
мамино атласное платье.

Пока бабушка в очереди за кипятком
к раскаленному чугунному кубу
точит с соседками
непонятные «лясы» о том,
что молодежь совсем обнаглела,
бегом – в большую комнату,
мимо дивно пахнущей мебельным лаком,
блестяще-полированной,
стеклянно-сияющей,
мелодично позванивающей
хрустальными фужерами
громады серванта;
вокруг обеденного стола,
похожего на пленного кита,
попавшегося в вязаную сетку скатерти;
мимо тюлевых занавесок,
сквозь которые завистливо
смотрит в наши запотевшие окна
продрогшее осеннее утро;
мимо разлапистого фикуса

с гладкими толстыми листьями,
на одном из которых я однажды
нацарапала слово «Оля»,
и бабушка лупила меня ремнем,
приговаривая, что «ему тоже больно»...
к трюмо.

На подзеркальнике
угнездились коробочки,
тюбики, флакончики,
шкатулки, футлярчики
и фарфоровая балеринка

в пышной пачке
и туфельках с «пуантами».

Бабушка говорит,
что от трюмо
«разит, хоть топор вешай»
мамиными духами «Красная Москва»,
пудрой «Кармен»,
лосьоном «Для лица»,
помадой
и кремом для рук
«Огуречный».

В другое время
я бы с удовольствием
все это перенюхала,
но сегодня мне надо спешить.

Платье, как змеиная кожа,
скользя холодит.
И вот... я – уже не я.
Из трюмо на меня глядят
пронзающие насквозь
малахитовые глаза,
голос звучит печально и строго:
«Исполнил ли ты, Данила-мастер, мой наказ,
сработал ли каменный цветок?»

Бабушка

Тяжело дыша, она подходила и склонялась над моей раскладушкой, каждый вечер задавая один и тот же сакраментальный вопрос: «Молилась ли ты на ночь, Мензимонда?» Фраза принадлежала ей и не ассоциировалась в моем пятилетнем сознании ни с чем, кроме ее одышки, морщинистого, страшноватого в полумраке лица и момента, когда, приближаясь, оно расплывалось перед глазами, и я чувствовала старческий запах и укол ее редкой, но чрезвычайно колючей бороды.

Бабушка. Я звала ее баушка Маруся. Соседи говорили про нее, что она «дородная», что «на ней пахать можно», что она «всех нас переживет» и что она «прикобыливает», но я им не слишком доверяла. Сердечный приступ, инфаркт миокарда, нитроглицерин – я всерьез гордилась знанием этих звучных слов. В нашей семье они произносились так же часто, как у соседей, работавших на многочисленных фабриках текстильного комбината, разбавленные общеупотребительным матерком, загадочные: *конбинат, подмастер, прогрессивка*.

Белая, как привидение, черным разинутым ртом глотающая воздух, судорожно шарящая рукой по одеялу в поисках коробки с таблетками, бабушка наводила на меня привычный ужас. Я опрометью бросалась вон из комнаты и стучалась к соседям: одинокой ворчливой Максимовне и вечно всем недовольной молодой медсестре Лидке. Нехотя отрывались они от своих дел и шли к нам, частенько появляясь, когда приступ уже отпустил. Бабушкино лицо розовело, она в изнеможении лежала на подушках и, с трудом ворочая языком, виновато благодарила всегда несколько разочарованных соседок.

Однажды в коридоре я услышала их разговор:

- Больная, едрить ее, всю жись не работает!
- Понятное дело – на чужом х...у в рай въезжать горазда.
- Вот я и говорю: больная – умирай. Неча людей от дела отрывать.

Мы жили в казарме – так в нашем городе называли огромные каменные общежития, еще при царе построенные фабрикантом Саввой Морозовым для своих революционно настроенных ткачей. Фабрикант, кстати, тоже был чрезвычайно революционен и активно субсидировал ту самую революцию, после которой его текстильные фабрики вместе с вышеупомянутыми казармами были благополучно экспроприированы.

Фабрикант застрелился, ткачей за излишнюю революционность при Сталине расстреляли, а менее активных под конвоем отправили строить гиганты первых пятилеток. Вместо них к станкам встали уже совершенно далекие от какой бы то ни было революционности ткачихи, которые и жили теперь в тех, еще при царе построенных казармах.

Лет до десяти слово «квартира» казалось мне весьма экзотичным – обитатели казарм жили в комнатах, устройством пародийно напоминавших крестьянские избы. Ситцевая занавеска делила комнату на две половины: сени с нахлобученными сверху деревянными полатами и горницу с окном. Мы жили в угловой комнате, где полатей, к моему великому огорчению, не было. Зато было два окна, выходившие на заросший бурьяном пустырь и погромыхивающие стеклотарой задворки гастронома. Мама, зная о моей неисполнимой мечте устроить на несуществующих полатах детский уголок, где на постели мирно жили бы игрушки и не надо было бы каждый вечер возиться с неуклюжей, скрипучей раскладухой, старалась утешить меня, уверяя, что окна делают нашу жизнь светлее.

Главным украшением каждой горницы была огромная, как мне казалось, железная кровать с шишечками, на которой возлежала массивная, покрытая лоскутным одеялом перина, а сверху красовались стоящие корабликом подушки с тюлевыми накидушками. Уютную картину довершал ковер на стене с изображением наивного, лупоглазого оленя.

Как хотелось порой лизать эти круглые хромированные шишечки, как тянуло, утопая в перине, попрыгать на сетчатой кровати, как мечталось, наконец, наряжаться в тюлевые накидушки, играя в принцессу перед громоздким, заставленным фарфоровыми *статувечками* трюмо, но, увы, это блаженство мне было недоступно – на страже порядка стояла бабушка, а спорить с ней я не решалась.

Кроме того, не могу не упомянуть характерную деталь казарменного быта – ненавистное, отравившее зловонием мое детство помойное ведро, располагавшееся в самом темном закутке сеней. Им активно пользовались. Это, можно сказать, был весьма популярный в казарме предмет по причине крайней удаленности и загаженности общественных уборных. На каждом этаже на сто двадцать комнат их полагалось две: мужская и женская. Что было, конечно же, вопиющей несправедливостью, учитывая, что женщин в казарме жило гораздо больше, чем мужчин. От нашей комнаты до уборной и кухни, тоже общественной, топать было минут десять по длинным, залитым асфальтом коридорам. Там играли в войну замурзанные горластые дети; жались по углам парочки; вцеплялись друг другу в волосы неполадившие товарки, оглашавшие гулкие своды раскатистым трехэтажным матом. Самыми ходовыми выражениями в казарме были «мандавошка многодетная», «пизда на тележке», «чумичка фабричная», но самыми дальнбойными были, конечно же, «яврейка», «враг народа» и обещание написать «куда надо».

В *калидорах* перебивали друг другу кости, спорили на пол-литру, троили, пели и плясали, справляя свадьбы и поминки, неизменно заканчивавшиеся дракой. Пьяные до белой жути в глазах мужики дрались в кругу сочувствующих, а дети носились по коридорам, оповещая интересующихся о ходе «битвы на рэльсах».

– Мам, дядь Коля с Севкой дерутся, а Толян за топором побег. Чо шас бу-у-ди-ит!

Дрались в казарме часто, с удовольствием и по самым разнообразным поводам. Не считая устойчивой мелкосемейной традиции, дрались всегда по пьяной лавочке, часто *из принципа* или чтоб доказать – «кто главный, а кто шас будет искать пятый угол» или «лететь, пердеть и радоваться». Дрались до «кровавой юшки», до «розовых соплей», до «вызова Дяди Степы», а по праздничкам вся *казарма* сходилась на «Морозовскую стачку» и дралась стенка на стенку. Моя мама почему-то называла эти драки «битвами богов и титанов».

В те годы увидеть человека с фонарем или дулей под глазом было делом обычным, но были лица, которые просто невозможно представить себе без неизменных фингала или блямбы. Недалеко от нас жила тетя Катя Малафеева со своим несчастным сыном Феденькой. Феденька был «идиёт». Он не мог ходить, говорить – проще сказать, он ничегошеньки не мог. Мать выставляла его на целый день в коридор, чтобы ему не скучно было, и он сидел в своем инвалидном креслице, мутно уставясь в одну точку. Сердобольные соседки, которые без зазрения совести могли ошпарить кипятком чужую кошку, проходя мимо «убоженки», клали рядом с ним кто пирожок, кто яблочко, а дети с удовольствием катали его по коридорам в чудесном креслице на колесиках.

Для меня Феденька был первым опытом сострадания. Я делилась с ним своими любимыми соевыми батончиками, рассказывала ему сказки, вытирала перламутровую слюну, ниточкой свисавшую с нижней оттопыренной губы, и мечтала, что однажды он превратится в прекрасного принца и я выйду за него замуж. Так вот у его матери, тети Кати, или, как ее называли в казарме, Катьки Не Прощу, «харя завсегда была разукрашена». Ее бил смертным боем сожитель – Толян Золотые Руки.

Казарма относилась к ним снисходительно-иронически. Ну что с них возьмешь? Видя, как Толян идет по коридору и оба кармана его куцега пиджака оттопырены бутылками, соседи знали, что через пару часиков Катька выбежит из комнаты со своим обычным «не прощу», но простит, и все будет повторяться до бесконечности.

Однажды, когда Толян уж как-то особенно взлютовал, соседи все же вызвали милицию. Милиционеры с трудом скрутили осатаневшего с перепоею, похожего на утопленника Толяна, засунули в «бобик» и увезли отдыхать, а Катька всю ночь как оглашенная бегала по коридору с криком «Оклеветали, изверги!», барабанила в двери соседям, обещая, как водится, не простить, и добилась-таки освобождения своего разлюбозного на следующий же день.

До шести лет неодолимая сила тянула меня в коридор. Я хотела играть с детьми, хлебом не корми, любила послушать разговоры взрослых, посмотреть, что творится на кухне, огромной, разделенной пополам гигантской русской печью, похожей на кирпичный дом с множеством полукруглых окон, из которых дышало жаром и умопомрачительным сдобным духом пирогов с кислой капустой. Я восхищалась видом тлеющих в глубине печи углей, но раздраженные хозяйки, длинными ухватами тащившие из недр огнедышащей пасти свои чугушки, похожие на черные драконьи зубы, орали: «А ну вон отседа. Неча шляться под ногами».

Иногда мне удавалось тайком пробраться на самый верх печи, где по субботам мыли детей в корытах, а в остальные дни сушили белье, и вход туда был строго воспрещен. Я же была настырная, я лезла наверх, где, обливаясь потом, играла среди простыней в Северный полюс и белых медведей под звуки ни на минуту не умолкающей кухонной свары.

В казарме никто не говорил тихо. Слово *кричать*, пожалуй, было бы слишком нейтральным. В казарме орали все, от мала до велика. Весь наш город, построенный на месте двух деревень: Орехова и Зуева, унаследовавший от них свое двойное название, разделенный надвое меланхоличной коричневой Клязьмой, казалось, оглох от шума ткацких станков. Орали в очередях, в переполненных автобусах, дома. Голос понижали, только чтобы посплетничать.

Я была тут как тут, ушки на макушке! Рано научилась я разгадывать этот особый злорадный блеск в глазах двух странно притихших женщин. Оживленные лица с мертво, беззвучно двигающимися губами. Я обожала особую плавность и таинственность их речи, не понимая на первых порах ее гнусоватого смысла. Местный диалект отличался йотированием окончаний, поэтому, даже понятия не имея о предмете разговора, легко можно было уловить сладострастно осуждающее: «Ай-яй-яй!»

- Зин-Зина-й, пади чиво скажу-тай!
- Ну чо-й?
- Иду ет я ночью по маленькой...
- Ну-й?
- Витька-й!
- Кой?
- Из втарова цеха-й, Макасны сынок, из Веркиной двери шасть!
- Ну-й!
- Вот те и ну-й! А все говорить «порядочная». Тьфу-й!
- А говорили, ён кантужинай?!
- А у кантужинах чай тожа стоять углом.
- Ничо-й, муж отсидит-вернетца, ён им показать – хто ва што ссыть.
- Тожа мне парочка-й – гусь да гагарочка-й!

Я играю неподалеку. Мой острый слух легко пробивает их условную звуковую заслонку. Меня интересует, что такое гагарочка. Заметив меня, тетя Зина толкает в бок товарку и говорит:

- Сматри-кай, а ета-й все слушаеть.
- Не ребенок, а шпиен, чистай враг народа-й!

Я так часто слышу это в свой адрес, что не обижаюсь. А женщины, перебив косточки другим, чувствуют себя «чиста и блаародна, как опосля бани».

Подогреваемые ханжеством, сплетни, как коварный огонь, сначала тлели, а потом вдруг вспыхивали и разгорались в коллективном сознании кирпичного муравейника. Бабушка говорила про сплетниц: «К этим на язык не попадайся – с говном съедят, не подавятся, еще и добавки попросят».

Вечером я спрашиваю маму:

– Мам, а кто такая гагарочка?

– Это птица такая северная, с теплым пухом. А откуда ты слово-то раздобыла?

– Теть Зина с тетей Настей сказали, что дядя Витя из двадцать пятой и тетя Вера из шестой – гусь да гагарочка.

– Все мне ясно, – говорит мама, свирепея, – опять ты на кухне околачивалась!

И в сторону бабушки:

– Мам, сколько раз просила – не пускай ты ее в коридор. Вечно она там какой-нибудь пакости нахватается!

Бабушка с постели, философски:

– Хороший человек – не газета, к нему говно не липнет!

Моя мама была красивая, молодая, одинокая женщина. По мнению казармы, все три качества – большой грех. Нужно ли говорить, что она задыхалась в огне и дыме бушевавших вокруг нее сплетен. Когда-то, блестяще закончив местный пединститут, она отклонила предложение остаться в аспирантуре и из идейных соображений поехала в Казахстан на освоение целины, откуда вернулась с изрядно истощившимся запасом идейности, тяжелым жизненным опытом, неудачным браком за плечами и со мною на руках. С тех пор она опять жила в казарме и преподавала русский язык и литературу в школе-интернате. Как-то я спросила бабушку, что такое интернат (она произносила *индернат*).

– А это такой детский дом, где живут детки, у которых мамы и папы спились или сидят.

Ну, *спились* я понимала без объяснений. Это как тетя Катя с дядей Толяном. А вот сидят? Я представила себе мужчин и женщин, рядами сидящих на лавочках в городском летнем театре.

Про мамину работу бабушка говорила, что она *собачья* – «и денег не плотют, и нервы мотають, и кровь сосут».

С нее мама приходила домой такая усталая, что у нее не было сил снять с себя пальто и тяжеленные от жирной *семисезонной* грязи боты с ностальгическим названием «прощай, молодость». Какое-то время она в изнеможении сидела в сенях, а по мере возвращения сил начинала жаловаться: на директора, который скрутил по рукам по ногам и шагу не дает ступить, да какую-то особо вредную Идею Аркадьевну.

Частенько раздражение переплескивалось и на нас с бабушкой: мы-де ее «оседлали и ножки свесили», что было равнозначно тому, что «в доме жрать нечего, гора посуды немытой, а от ведра несет, хоть топор вешай».

Мы с бабушкой чувствовали себя виноватыми, маму жалели и никогда на нее не обижались. Заморив червячка хлебом с маслом, выпив холодного чайку, она «отходила», то есть начинала шутить, прибиралась; чтобы не идти на кухню, готовила ужин на керосинке; перед тем же, как уложить нас с бабушкой спать, а самой засесть за тетради, читала нам совершенно непонятные стихи.

Бабушка тяжело вздыхала, ерзала от сопереживания, говорила что-нибудь вроде: «Чтоб их всех, кобелей, грыжа заела». Я же не понимала причин бабушкиного расстройства,

но стихи запоминала с лету и однажды поразила воспитательниц в детском саду, прочтя наизусть строки, показавшиеся мне комичными:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Маме было двадцать восемь лет, мне – пять, но я понимала, что живется ей тяжело, и жалела ее, как маленькую. Сгорая от нетерпения, я ждала ее с работы, издалека узнавала ее усталые шаги в коридоре, но никогда не бежала навстречу, не повисала на шее, хоть и очень хотелось – бабушка не велела: «Дай человеку в себя прийти, не ровен час концы отдаст! – И прибавляла горестно: – Укатали сивку крутые горки».

Томительно тянулись часы до маминого возвращения. Играть со мной в собаку бабушка отказывалась, в коридор не пускала, мне было скучно, я начинала *выкаблучивать*. Чтобы как-то унять меня, она водружала на нос очки, от чего ее благородно-значительное лицо становилось очень комичным, и говорила: «Ну так и быть уж, тащи свою книгу, бесстыдница».

И вот мы сидим с ней на ее высокой перине. Медленно, почти по складам читает она мою любимую «Золушку», прерывая чтение вольными комментариями:

– «Жила-была девочка. Звали ее Золушка. Не было у нее матери, а была злая мачеха...» Мать надо беречь. От материнской затрещины у человека головная боль пройдет, а от мачехиной ласки всю жизнь заикой проходишь!

Я ерзаю: «Баушк, читай дальше-то!» Она поправляет очки, долго ищет потерянное место и продолжает:

– «Мачеха заставляла бедную Золушку работать». Не беда, девка она работающая. Глаза страшатся – руки делают!

Я изнемогаю и даже угрожающе хлюпаю носом, а бабушка вразумляет:

– Ну ладно, ладно, ты не больно-то, слушай: «Были у Золушки две неродные сестры, обижали они бедную сиротку». – Внезапно она запекает: – «Я страдала, мать не знала, сестра-сволочь доказала».

Для меня ее манера комментировать каждую строчку была мучением, так как очень хотелось поскорее добраться до бала и встречи с принцем, но куда там. Дойдя до самого интересного места, она вдруг откладывала книгу и говорила: «Хорошенького понемножку». Я, естественно, начинала канючить, но бабушка строго возвращала меня к реальности: «Нечего передо мной выкобениваться. Подрастешь, научись читать, вот и будешь сама себе хозяйка, а пока терпи, казак, атаманом будешь».

Эта история повторялась изо дня в день. Начало сказки я знала наизусть и нетерпеливо следила за ее морщинистым пальцем, медленно ползущим вдоль знакомых строк, не замечая, что уже читаю сама, стараясь ее опередить. Однажды бабушка, лукаво взглянув на меня поверх очков, сказала: «Чтой-та глаза не глядят. Не посмотришь, что там дальше-й?» Я повела своим пальчиком по строке и самостоятельно дочитала сказку до конца, а бабушка все приговаривала: «Вот и умница-й, вот и разумница-й, есть и у баушки тяперь памошница-й».

Вечером я несказанно поразила маму, торжественно прочтя название ее книжки в мягкой голубой обложке – «Новый мир». С тех пор вечера без мамы стали менее томительными, так как, устав от ожидания, я брала книгу и говорила бабушке: «Так уж и быть, почитаю тебе, а то глаза-то у тебя старые – не видят».

Тем не менее вечное ожидание маминого возвращения с работы сохранилось в памяти, как одно из самых главных испытаний детства.

Как-то раз она особенно долго не возвращалась. Прошли все сроки. Затих гвалт, не хлопали двери, не слышно было излюбленной песни пьяниц «По которой», душераздирающими голосами под гармошку исполняемой все дни напролет. Я лежала, притворяясь спящей, прислушиваясь к беспокойным бабушкиным вздохам. Мы обе страшно волновались, но свое волнение скрывали друг от друга. Наконец в коридоре послышались гулкие неровные шаги. Мама тихо вошла, притворяясь, что с ней все в порядке, но вдруг громко икнула.

Дело было ясное – мама пришла домой пьяная. Бабушка с «трона», так она называла свою кровать с периной, тихо, но грозно спросила: «И иде-й-та мы шлялись? И какой такой мы дряни нализились?»

Мама испуганно пролепетала заплетающимся языком: «Прости, мам, с девчонками на работе посидели – Верку в декрет проводили, а потом автобуса чуть не сто лет ждала. Прости! – И вдруг добавила: – Ой, что-й-та тошно мне». А бабушка, смягчившись, уговаривала: «А ты поблуй, поблуй – полегчайте».

Довольная, что мама вернулась, я сразу же стала проваливаться в блаженный сон и уже издалека слышала, как бабушка не сердито, а так, «для проформы», ворча, называла маму своими излюбленными «черт чудной» и «ирод проклятый».

Утром бабушка ревностно оберегала ее сон, не давая мне приблизиться.

– Ну чо лезешь, не видишь – мать пьяная спит? Дай человеку оклематься.

Мы медленно, в час по чайной ложке, сходили вдвоем к Максимовне (в казарме знали, что она из-под полы приторговывает) и вернулись домой с «маленькой на опохмел».

Когда среди дня, болезненно шурясь и дрожа от похмельного озноба, мама проснулась, бабушка протянула ей маленький граненый стаканчик, ласково прозванный в народе мерзавчиком, и сказала: «На, гулена, отравись еще маненько, должно полегчать».

Я так страстно и возвышенно любила маму, что слегка даже не одобряла бабушку за то, что она маму бранит, а та ее боится. Лишь спустя годы бабушкин образ стал проясняться в моем сознании. Я поняла и смогла оценить все ее душевные и речевые перлы.

Стоило болезни чуть-чуть ослабить мертвую хватку, как бабушка оживлялась, старалась *подмогнуть* маме по хозяйству, чаще шутила и *озоровала*. Из развлечений ей было доступно только окно, которое выходило в заваленный ящиками двор гастронома номер два, или «второго», как его все называли.

– Нюр, ты селедку где брала?

– Во втором, где жа!

Или:

– Бабы, бегите во второй, там твердую колбасу выбросили, аж по две палки на рыло!

Во втором всегда бывало людно, но уж когда выбрасывали дефицит – тут уж держись! Возникла дикая давка, а очередь тянулась на километры. Иной раз идем с мамой – видим – *черед*!

– За чем стоите?

– Сами не знаем. Одни говорят, курей дают, другие – шпроты. Нам что ни дай – все возьмем!

Мы с мамой в очередях не стояли – «и без очереди хороши».

Помнится, мне нравилась загадка: «Сидит девица в темнице, а коса на улице».

– И вовсе это никакая не морковь – это тетя Шура за кассой.

Я хорошо помню хвосты за хлебом при «лысом», за колбасой при «бровастом», но, к счастью, не застала того, как при «отце родном» все было, даже «икра без очереди – хоть жопой жуй».

«Второй» занимал изрядное место в моем воображении, вернее его кондитерский отдел с тортами «Песочный», «Полено» и «Сказка».